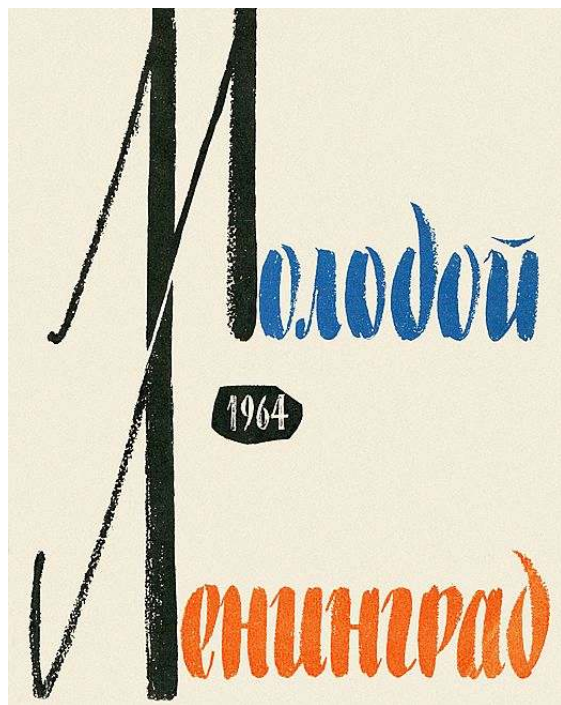


Молодой Ленинград*64

Ленинградское
отделение издательства
«Советский писатель»,
1964 г., 180 стр.
Тираж 15 000 экз.
Цена 40 коп.

Редколлегия:
С.В. Владимиров,
Г.А. Горышин, М.А.
Дудин, Н.П. Луговцов,
С.С. Тхоржевский
(составитель),
В.С. Шефнер
Ответственный редактор
Д.А. Гранин
Редактор Т.Д. Зубкова



Обложка и титульный лист художников М. Гордона и Н. Васильева

Стихи: Александр Шкляринский, Александр Городницкий,
Глеб Горбовский, Евгений Шлионский, Геннадий Угреников,
Вадим Халупович, Татьяна Галушко, Леон Гроховский, Галина Гампер,
Александр Олейников, Эдуард Кутырев, Юрий Бурьгин, Петр Киле,
Олег Тарутин

Проза: Александр Трохачев, Генрих Шеф, Владимир Ляленков,
Инна Пруссакова

Очерки: Лидия Гладкая, Майя Данини, Глеб Горышин, Ирина Муравьева,
Лидия Агафонова

Геннадий Угренинов

МОЛОДОСТЬ

Вы встаете задолго до свету,
Но уже остывают сны.
Надышитесь,
напейтесь досыта
Ощущением тишины.

Капли звезд
осторожно сядут
На оконный квадрат стекла,
Да продрогшие ветки сада
Будут солнца ждать
и тепла.

А пока,
завернувшись зябко,
На пригорках возшла трава, —
Жизнь лежит,
как большое яблоко,
И надкушена лишь едва.

Кто-то ставенными досками
Гулко выстрелил в эту тишь —
То Россия проснулась до свету:
Ей еще далеко идти...

Вадим Халупович

Е. Кумпан

Случилось что! Скажи на милость!
Не успокоюсь. Не усну.
Зима во мне переломилась
И повернула на весну.

Никто не знает и не видит,
Какой во мне переворот.
Зима еще меня обидит,
Все повернет наоборот.

А я иду и улыбаюсь,
И удивляюсь сам себе.
Иду, как будто отрубая
В своей душе, в своей судьбе
Все то, что было в те морозы,
В те холода, что за спиной.
И пробивается, как озимь,
Уже повелевая мной,
Мое весеннее смятенье,
Торжественная кутерьма...
Я чувствую себя растением,
В котором кончилась зима.

Глеб Горышин

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ (Из очерка «Две недели в Хибинах»)

Взрывники и проходчики, водители самосвалов и вездеходов собираются в зрительном зале. Их жадные, быстрые очи щупают нас, восседающих за столом на помосте. И девушка с бледным лицом, в блестящих чулках и накинутом полушубке, опустила уголки своих накрашенных губ; ее нельзя удивить в этом мире. И начальник Румненко пришел послушать этих артистов, встал у дверей. И мальцы в спецовках расселись на полу в свободном пространстве меж нами и зрительным залом. Как будто их сейчас будут снимать на всеобщее фото.

Люди живут на плато Расвумчорр. Только на воскресенье их возят вниз, на Большую землю. Все стосковались по зрелищу, по кинофильму. Встает сатирик, читает смешные, разящие басни. «Плевать с кольца Сатурна – дурно», – читает сатирик. Всем смешно. Все голодны по искусству. Мой товарищ, прозаик, читает рассказ о матросах. Как пришлось им сесть в бушлатах на лошадей во время гражданской войны. Как белые трепетали при виде бескозырочных валких матросов в седлах. Рассказ называется: «Надо!»

Надо. Зрительный зал рукоплещет.

Я говорю, что прежде чем написать мою книгу, я нанимаюсь рабочим и еду в Сибирь. Рукоплещут и мне.

Потом композитор Родыгин поет свою песню и подыгрывает себе на баяне: «Едут новоселы по земле целинной...» Он вдруг наклоняется к сидящему на полу мальцу и спрашивает: «Ну что, не надоело слушать?» И малец сияет: «Не-ет». – «Чего же ты на концерт пришел – не причесался? – донимает мальца композитор. – Смотри у меня!» Зал восторженно отзывается на такой близкий контакт с композитором.

Потом мы едем на вездеходе вниз. Машина несется без дороги, буйствует, давит сугробы. Одной из наших спутниц делается не по себе от такой езды. Мы потешили своим искусством водителя, теперь ему охота потешить нас.

Владимир Ляленков

МАРУСЯ (отрывок из повести)

Пришла война. За месяц почти не осталось в деревне мужиков. Тут как раз урожай поспел. Убирать нужно. А кругом такое поднялось, что бабы совсем растерялись. Знай только бегали от хаты к хате да голосили. Как идут через деревню войска, бабы с ребятишками выбегут на улицу, стоят и не знают, что молвить. Только тем и выражали свое чувство: та хлебину сунет, та с цибаркой молока стоит, кружкой черпает да подает попить бойцам. А те идут и идут...

Потом уже днем и не проходили. При белом свете спали в лесу, а чуть стемнеет – шли...

Случалось ночью – тишина стоит в деревне. Не звякнет ничего поблизости и не шелохнется. Хаты слепы. Хоть бы где огонек мелькнул. Кобель провояет, и опять тишина. Вдруг затарахтят телеги, послышится храп лошадей, мужские голоса.

– Петренко! Занимай эти две хаты!

– Эй, хозяйка!

И в двери – тук-тук.

Всколыхнется деревня – и топятся печи в каждой избе, варится картошка, мясо, пищит сало на сковородках. Поедят бойцы, не отряхиваясь от дорожной грязи, и с ней же уедут, неожиданно окончив еду. Уж на что заезды были коротки, а успевали девки, бегавшие из хаты в погребницу и обратно, крикнуть в сенях: «Эй, эй! Руки, руки пусти-то! Крынку оброну, леший!»

У Маруси тоже останавливались. Она все хотела спросить: «Не видали моего?» Да спохватится – откуда им знать! Уйдут бойцы, Маруся сядет у темного окна и вспоминает. То в памяти вырастал Гришка еще чужим, то как он попрощался с ней и как она голосила. Все до мелочей припоминала да рассказывала Нюрке и Пашке.

Однажды среди бела дня Нюрка сбежала с бойцами. Она подговорила молоденького лейтенанта, и тот взял ее с собой. Мать Нюркина прибежала к Марусе, голосила, ругалась.

– Дожилась, – кричала он, – дожилась... Опозорила она себя! И меня бросила! А что я с ними одна поделаю...

У Нюрки было четверо маленьких братьев и сестер, и всех их надо было кормить. Но уехала Нюрка ненадолго. Через неделю вернулась, и

чего только не рассказала она! Под Курском налетели самолеты немецкие, развесили ракет, и хоть ночь стояла, а все стало видно. Разбомбили самолеты всю колонну, а Нюркиного лейтенанта убило осколком в живот. Сама же Нюрка еле выбралась. Бабы не судили ее.

Начались дожди. Дороги размыло, и войска не стали проходить через Груши. Хлеб стоял на корню. По свекле бродили свиньи. Получили из района распоряжение. В нем говорилось, чтобы колхоз выгнал скотину в направлении на Ливны. Кузьма Никитич съездил сам в район, вернулся оттуда угрюмый. Подбирали людей, которые погнали бы скот. Выделили двух парнишек да шестерых дотошных баб, и те угнали скотину.

Приближался немец. Кузьма Никитич ходил по хатам, качаясь на деляшке, и говорил:

– Смотрите, бабы, с голоду подохнем. Хлеб нужно убирать по силе и в землю прятать.

К тому времени, как заявился немец, в Грушах уже напяртали в землю и хлеба и сала. Ровенько протоптанную землю можно было увидеть и в сараях, и в хатах, и в огородах между яблонями.

Маруся и у себя успевала управиться, и к Пашке бегала помогать. У Пашки силенки недоставало, как и у ее матери, и Маруся таскала им мешки.

А как грянули немецкие солдаты на машинах, так и притихли Груши. Ту часть деревни, которая ближе к дороге, солдаты заняли под квартиры. А жители перебрались в другую часть деревни – к лесу. Семью председателя взяла в свою хату Маруся. Самого же председателя, Кузьму Никитича, немцы отвезли в город и там расстреляли. Они узнали, что он партийный. Жена его убивалась. Маруся старалась хоть как-нибудь ее утешить. Когда весть о расстреле председателя пронеслась по деревне, Ефим шапку в охапку и исчез. Он ушел в Щюри и жил у своего знакомого, деда Петрухи.

Пробыли немцы в Грушах шесть месяцев. Когда же их выгнали, и бабы да ребятишки забегали от хаты к хате, не пряча радостных слез, то половины деревни в помине не было. От колхозных коровников и конюшен остались только длинные грядки глины, притрушенные снегом. Немцы в лес не ходили, а ломали на дрова строения.

Пашка дурочкой стала. Ее немцы на машине увезли раз куда-то, откуда она добралась домой полузамерзшей. Билась посредине хаты, голосила. Ночью не спала, а все науськивала кобеля на кого-то в огороде. Мать ее даже боялась оставаться ночью у себя в хате и убегала к соседям.

– Прокрадется она в сенцы, – рассказывала разбитая горем мать, – притулится к дверям и стоит, прислушивается. Потом завизжит, затопчет ногами, вскочит в хату, двери закроет на крючок и опять стоит. И так всю ночь...